

# Виктор Вахштайн: «Выхолащивание языка»

п у б л и к у е т с я в с о к р а щ е н и и

Михаил Вяткин,  
Владимир Касютин

Наш собеседник — Виктор Вахштайн — кандидат социологических наук, профессор, декан факультета социальных наук МВШСЭН, декан философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС, главный редактор журнала «Социология власти»

**Виктор Семёнович, на функции прессы влияют изменения, происходящие в обществе? Чем должны заниматься СМИ, чтобы остаться нужной аудиторией?**

Чем должны заниматься СМИ, это вопрос, как бы, нормативный. Получается, что я должен вам рассказать о вашей миссии, что вы должны делать. Но если посмотреть, что происходит по факту, то есть два тренда. Один — общемировой, в который мы вписались, и отчасти стали его заложниками, и он связан с Интернетом. На первом его витке это то, что связано со стремительным расширением информационного пространства, а на следующем витке — с социальными сетями. Я с трудом представляю, о чём будут писать журналисты, если Интернет рухнет. Многие СМИ, по сути, занимаются рерайтом того, что они находят в собственной ленте Фэйсбука. И это становится основным контентом старого мейнстримного информационного потока.

Вторая функция, чисто российская, вернее тенденция. И она связана с тем, как трансформировался жанр сообщений, которые транслируются. Она связана с тем, как изменилось то, что в соци-

ологии называется «фреймом», то есть форматом подачи.

Мы мерили разные рейтинги доверия — институционального, межличностного. Так вот, телевидение является основным источником информации для 72% населения Российской Федерации, но при этом из 72% доверяют полученной из телевизора информации порядка 20%.

Это явление называется *discrepancy rate* (уровень расхождений), то есть разница между теми, кто слушает и теми, кто доверяет тому, что при этом слышит. Раньше подобного никогда не было. Когда мы берём Интернет, где получают информацию в качестве основного источника, порядка 25%, и 22% доверяют тому, что там находят. Разница всего три процента, против 50 для ТВ. Это большая проблема для российских СМИ.

Функциональная машина советских и сегодняшних СМИ устроена очень по-разному. Советским СМИ была присуща некая просветительская модель.

Поправьте меня, если это не так, но в те годы были журналистские корочки, которые делали их владельца, по сути, привилегированным гражданином советского общества. И это делало журна-

**ЯЗЫК СОВЕТСКИХ СМИ БЫЛ КРАЙНЕ  
РАФИНИРОВАННЫЙ, НАПОЛНЕННЫЙ  
ЛАТИНИЗМАМИ И КАНЦЕЛЯРИЗМАМИ,  
СЕЙЧАС ЯЗЫК СМИ — ЭТО ЯЗЫК ПОДВОРОТНИ**

листов рафинированной прослойкой. Но язык советских СМИ не был языком тех, к кому они обращались. Это был крайне рафинированный, наполненный латинизмами и канцеляризмами язык, который при этом никак нельзя было спутать, например, с языком рабочих на улицах города Пензы.

Каждый прекрасно понимал, что журналистика транслирует решения партии и правительства народу. Но она при этом даже не пытается говорить с народом на его языке, за исключением тех моментов, когда появлялось интервью.

Это была пропагандистская, но рафинированно-пропагандистская машина, и это принципиально отличие её от сегодняшних СМИ. Потому что сейчас язык СМИ — это язык подворотни.

**Но почему изменился язык СМИ?**

У меня нет нормального объяснения, за некоторыми исключениями. Во-первых, повлияли темники. У меня по три-четыре эфира в неделю, и даже самые либеральные СМИ перед прямым эфиром просят меня не касаться каких-то тем. Но я провожу социологические исследования, то есть по определению не могу слить никакую информацию, у меня нет к ней доступа. Я могу только озвучить результаты наших исследовательских проектов. Когда начались темники, началась и эволюция языка. Но темники тоже не объясняют всего.

**Обновление языка происходит  
не только в России?**

Эволюция языка, например, в американской журналистике — уже хорошо изученный и отрефлексированный момент. И там тоже произошло движение в направлении быдло-СМИ и к тому, о чём





**ПОЧЕМУ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ОБСУЖДАЮТ  
В ФЭЙСБУКЕ, СМИ ДОЛЖНЫ  
ОБ ЭТОМ ПИСАТЬ?**

все сейчас кричат — «fake-news». В Америке то, что невозможно было помыслить сказанным в прямом эфире, стало абсолютно нормальным. И не только в прямом эфире, но и в академической аудитории. Я недавно был в Штатах, и признаюсь до этого ни разу не слышал от американского коллеги, профессора университета, который бы говорил dust fuck of republken banksters. Мы в России тоже не сдерживаемся на академических презентациях, но такого не было никогда.

**Может быть, Интернет всё-таки влияет?**

С одной стороны — да. С другой — Интернет не определяет ваш язык и жанр, он диктует вам содержание.

**Лет десять назад было проведено исследование, в котором анализировались темы, которые не освещаются региональными СМИ, но при этом важны и задевают за живое аудитории.**

**Первой доминантной темой, которая отсутствовала в СМИ, было — содержание под стражей, в тюрьмах и лагерях большого числа сограждан. Второй по значимости упущенный вопрос был связан с болезнями, с тем, куда обратиться больному, и можно ли вылечиться. Третья тема — поиск работы. Сегодня есть темы, которые недостаточно обсуждаются в СМИ, темы, мимо которых проходят журналисты?**

А какова была методология этого исследования? Для того чтобы прийти к каким-то выводам, нужно сделать много методологических шагов. Первый — провести нормальный контент-анализ по репрезентативным выборкам. Это можно сделать за счёт базы Медиалогии и изучить тематическую повестку от региона к региону.

Тут мы обнаружим, что тематические повестки регионов дублируют друг друга на 80%. Потому что на самом деле эти тематические повестки задаются не из регионов, они спускаются сверху. Если региональный источник не отражает специфику региона, а просто пытается внутри этого региона отработать федеральную повестку, то это уже не региональное СМИ.

Затем в базе социальных сетей мы скачиваем огромное количество постов, нейросеть их обрабатывает и определяет локальные точки обсуждения. Необходимо сопоставить карту СМИ и хештеги, которые определит нейросеть после обработки социальных сетей.

Дальше мы можем сказать: вот это волнует людей, они обсуждают это в Фэйсбуке, а СМИ об этом не пишут. Но это несколько странный ход. Почему, если что-то обсуждают в Фэйсбуке, СМИ должны об этом писать?

Другое дело, когда после определения обсуждаемых вопросов делается выборка этих тематик и проводится социологический опрос, насколько людей реально волнует та или иная из перечисленных тематик. Вот тогда уже будет возможно репрезентативно сопоставить эти вещи.

Это первый сюжет, то есть сюжет, который связан с тремя уровнями обсуждения: что проталкивается через СМИ, второе — что появляется в социальных сетях, третье — что реально волнует людей. Потому что в сетях возникает далеко не всегда то, что реально волнует людей, например, тот же вопрос содержания граждан в тюрьмах.

Другое дело, насколько региональная специфика действительно должна попадать в СМИ? Какие темы вообще должны туда попадать? Как производится этот отбор?

**Как вы думаете, почему тема прошлого для наших СМИ притягательнее описания настоящего и будет ли сохраняться эта тенденция?**

Отчасти это связано с тем, что прошлое казалось безопасной территорией, о которой можно писать. Если у вас выбор — писать о коррупции губернатора или об участии жителей области в Отечест-

венной войне, то большинство станут писать про участие.

Но и тема прошлого стала заминированным полем. Когда учитель истории Калининградской школы (для Кёнигсберга это болезненный вопрос личных историй, семейных и истории региона) в шутку говорит, что с *нашего* аэродрома взлетали немецкие самолёты и летели бомбить *наши* города, такая шутка становится предметом чуть ли не уголовного преследования.

Писать о прошлом становится совсем не так весело, тепло и лампово, как прежде.

**На контент СМИ не может не влиять тот фактор, что в последние десятилетия в журналистику хлынул поток людей из самых разных жизненных сфер.**

Есть ещё огромная поколенческая дистанция. И она в СМИ проявляется ещё сильнее, чем в науке. У нас тоже есть свои особенности. Например, в 1990-е люди не шли в аспирантуру. Поэтому есть определённый разрыв между учёными, которым сейчас около 40 и теми, кому за 60. Пятидесятилетнего социолога найти довольно-таки сложно.

В журналистике история лишь отчасти похожая, там был приток новых кадров, но это были люди совсем другого типа. Многие из пришедших в конце нулевых, по сравнению с пришедшими в 1990-е годы, настроены гораздо более лоялистски, они более зашорены и ограничены.

Поэтому поколение 1990-х, которое обвиняли в чернухе, которое стремилось опубликовать как можно скорее, как можно более жареные новости оказалось несчастным поколением, потому что перед ними — советские мэтры, а за ними — лоялистские молодчики которым сейчас 25 лет.

Было бы очень интересно исследовать журналистское поколение 1990-х годов. Посмотреть по году прихода в профессию, по дальнейшему повышению профессионального уровня. Кто из них остался? Куда ушли?

Возможно, то, о чём мы говорили с вами перед этим (изменение жанра и стиля подачи материалов), связано именно с этими демографическими вещами.

**Люди массово пошли в сети.  
Есть ли предел активного участия  
пользователей: физический или  
эмоциональный? Что будет с этим дальше?**

Никто не знает, что будет дальше. Понятно, что процесс приобрёл характер необратимого изменения. Когда появились автомобили, коннозаводчики говорили, что вот сейчас людям надоедят эти тарактелки и они опять пересядут на лошадей. Но на лошадей никто не пересядет. Другое дело, в какой степени будет сохраняться этот осколок, вроде нас, живущих пережитками прошлого, среди цифровых аборигенов.

Я, например, не пользуюсь даже мобильным Интернетом, то есть в телефоне. Считаю, что коммуникация не должна отвлекать более 10% моего времени. А если включаю мобильный интернет и устанавливаю мессенджер, проверено, он отнимает 35% рабочего времени, про видеочат даже молчу.

Для нас важно вот что: с одной стороны, технология становится предметом повседневного использования, а с другой — объектом веры. Интересно, что те, кто верит в технический прогресс, и те, кто пользуется его достижениями, — это разные люди. Мы сделали такое исследование параллельно с европейцами. Выяснилось, что у нас какой-то чудовищно высокий уровень технооптимизма. То есть буквально половина населения Российской Федерации полагает, что технический прогресс в ближайшей перспективе избавит общество практически от всех гуманитарных проблем.

**Но при этом они приходят в больницы  
и видят, что лечить лучше не стали?**

Ещё одно наше исследование показало: 47% населения предпочтёт умереть в процессе самолечения, но не пойдут в больницы, если там нет знакомого врача. То есть мы за последние пять лет вернулись к ситуации позднесоветского блата. Но это — отдельная тема. И там не про технологию, а про то, кому кто позвонит.

**В технологии верят те,  
кто живёт в Интернете?**

В том-то и прикол: те, кто живёт в Интернете, и те, кто верит в технологии, — это не те же самые люди.

**А где они узнают о технологиях?  
Из телевизора?**

Отчасти да. Некоторым кажется, что Интернет вытеснил телевизор. Нет, Интернет отжал только свою четверть информационного потока. Но люди, которые в это верят, не пользуются при этом мобильным Интернетом, заклеивают видеокамеру у себя на ноутбуке и т.д. А те, кто пользуется Интернетом и гаджетами всё время, не считают, что технологии — это хорошо. Они не считают, что Интернет — это благо. Для них Интернет — это повседневность. Поэтому для социологии интересен поколенческий вопрос, как будет изменяться баланс веры и практики. Баланс между тем, что мы верим в Интернет и технологии, и тем, насколько мы являемся от них зависимыми.

**Ваши исследования показывают, что люди  
предпочитают личные контакты и всё меньше  
доверяют формальным институтам.  
Но нечто похожее наблюдалось в начале  
1980-х годов. Можем мы провести некие  
параллели между тем, что было тогда  
и сегодня?**

Любые исторические параллели заведомо ложны. Невозможно ничего ни с чем сравнивать в исторической перспективе. Когда мы фиксируем взаимосвязь параметров, мы фиксируем некоторую воспроизводимую, устойчивую взаимосвязь, не более того.

Мы видим, что с 2012 года стремительно развиваются сети доверия. Количество друзей выросло в полтора раза, знакомых — в два.

В 2012 году мы сделали первый замер, и цифры держались примерно полтора года. В 2013-м начался стремительный рост солидаризации людей. Начинается расширение сетей и контактов.



**ПРОЯВЛЯЮТСЯ ИНТЕРЕСНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ —  
МОЖНО ПОСЧИТАТЬ, С КАКОЙ  
ВЕРОЯТНОСТЬЮ ВЫ ДАВАЛИ ВЗЯТКУ, ИСХОДЯ  
ИЗ КОЛИЧЕСТВА ВАШИХ КОНТАКТОВ**

Но мы видим параллельное с этим снижение доверия к формальным институтам. И, что интересно, снижение показателя обобщённого доверия. А он в принципе показывает, насколько вы считаете, что люди — закоренелые сволочи или нет. То есть насколько вы считаете можно доверять людям, в том числе и незнакомым.

Обобщённое доверие — это очень важный параметр для экономистов. Потому что в странах с высоким уровнем обобщённого доверия, в Скандинавских прежде всего, государство тратит гораздо меньше денег на контроль сделок и на полицию.

**А от чего зависит «обобщённое доверие»?**

Кто-то может говорить, что это — культурная особенность, кто-то — что это особенность именно такой организации взаимодействия между людьми. Мы не знаем, откуда это берётся. Но есть некоторые параметры, которые можно замерить, и эти параметры сильно коррелируют с экономическим поведением. То есть если в стране в целом высокий уровень обобщённого доверия, то экономика развивается быстрее. А ещё в этих странах гораздо выше вероятность возможных коллективных действий.

И вот мы фиксируем, что у людей расширяются возможности доверительных взаимоотношений, но при этом падает доверие ко всем институтам, начиная от банков и городских властей. Дальше начинаются спекуляции: кто-то публикует статью, что у нас начинается гражданское общество, потому что солидаризация людей, ячейки, партиципация и т.д.

А кто-то на основании тех же самых данных пишет, что это возврат к позднесоветскому благу. То есть обе интерпретации в равной степени легитимны. Но это — интерпретации. Что касается жёсткого каркаса данных под этими интерпретациями — это всего лишь взаимосвязь трёх параметров, не более того.

Проявляются интересные взаимосвязи — можно посчитать, с какой вероятностью вы давали взятку, исходя из количества ваших контактов. Посмотреть какие-то другие интересные вещи, связанные со сбережениями, с поиском работы. Почти три четверти населения страны работу, на которой они сейчас работают, нашли по личным контактам: через личное прямое знакомство с работодателем, либо через знакомство с тем, кто лично знаком с работодателем.

Мои бывшие студенты, а ныне коллеги, Паша Степанцов и Светлана Бардина опубликовали любопытную статью «The loop of distrust» («Петля недоверия»). В ней они показывают, почему при расширении межличностных контактов любой контакт с институцией становится для институции игрой с отрицательной суммой.

Это хорошо видно на примере здравоохранения. 47% не пойдут в больницу, если у них нет знакомого врача. Предположим, у вас есть знакомый врач или ваш друг посоветовал вам своего знакомого врача. Вы приходите туда, и первый возмож-

ный исход из этой игры (такая модель теории игр) — он вам помог. Уровень доверия к этому человеку у вас вырос, он попал к вам в записную книжку, и теперь вы сами в будущем станете его рекомендовать. Но при этом уровень доверия к здравоохранению не вырос, потому что вы знаете — вам помогли, потому что вы кому-то позвонили, и кто-то затем отнёсся к вам по-другому. Предположим обратное — врач вам не помог. Вы не включите его в свою сеть контактов, и оценка уровня здравоохранения рухнула, потому что вы уверены — вам не помогли, из-за того, конкретно он — сволочь, хотя, возможно, он и сволочь. Но наша система здравоохранения находится в ужасном состоянии, там такие врачи. Поэтому любой контакт с больницей, опосредованный личными и межличностными отношениями, для больницы становится игрой с отрицательной суммой.

Понятно, что это касается далеко не только больницы, но и многих других вещей.

**Мы не видим продуктивных общественных дискуссий. Как только мы где-то начинаем что-то публично обсуждать, ничего путного не получается, никаких выводов или решений. Может ли в принципе быть организована продуктивная общественная дискуссия?**

Это очень большая тема в социологии 1960—1970-х годов, скорее даже в политической теории, когда благодаря Юргену Хабермасу появляется важный концепт «сфера публичности». Там всё строится на том, что сама идея демократии связана с обсуждением.

То есть решение не принимается, пока оно не обсуждено достаточным количеством людей. И это не просто случайные люди пришли на референдум и проголосовали: кто-то — за, кто-то — против. Прежде чем вопрос будет выставлен на референдум, сама его идея должна пройти достаточное количество итераций, широких обсуждений.

Но у Хабермаса есть другой важный аспект этой темы: идея публичного обсуждения связана с XIX веком и с идеей «публики». Публика — это очень небольшое количество людей, это — высший свет.



**СЕГОДНЯ СМИ К ПУБЛИЧНОМУ ОБСУЖДЕНИЮ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ**

Для неё публичное обсуждение, — это салон.

Ключевой момент, когда из обсуждения в салоне, где светские люди все друг друга знают и это такой светский трёп, оно переходит на городские улицы, как это было в Древней Греции. Такая эволюция публичности, как сферы.

Во что выродились публичные обсуждения у нас сегодня? Ну, во-первых, это — Фэйсбук. То есть публичные обсуждения никуда не ушли. Публичные обсуждения благодаря социальным сетям, наоборот, стали буквально новой валютой, которая зарабатывается человеком в публичных обсуждениях.

Но они ушли из средств массовой информации. Так называемые «экспертные мнения» — это не то.

Из хабермасовских работ позднее выросло явление, которое называется «аудиальная демократия». Её концепция построена на том, что мы бились за свободу слова, но забывали о том, что свобода слова должна дополняться свободой «быть услышанным».

Потому что если только свобода слова, она может свестись к тому, что все орут — слово-то свободное. Но ты на фиг никому не нужен со своим словом. Свобода говорить компенсировалась свободой никого не слушать.

Аудиальная демократия как раз пытается поправить концепцию демократии, что это всё-таки про слушание, а не про говорение. И это уже, на самом деле, очень касается СМИ. Но получается, что сегодня СМИ к публичному обсуждению у нас никакого отношения не имеют.

**В социальных сетях все считают себя равными, вправе рассуждать о чём угодно. В результате суждения экспертов быстро теряются среди мнений дилетантов.**

А дальше вопрос: либо публичность, либо экспертность? Это на самом деле одно из двух. Причём ещё одна отдельная тема, которую мы не затронут, — это деградация самой идеи экспертности. Что такое — быть экспертом? Изначально, ещё до медийной революции, эксперт — это человек, который, с одной стороны, обладает особым знанием предмета, и чаще всего его жизнь с этим предметом связана, он долгое время был внутри этой практики. А потом он имеет влияние на людей, принимающих решения.

Когда я первый раз приехал на Балканы с миссией ОБСЕ, мне в первый же день вручают карты минных полей. Мы спрашиваем: а кто это рисует? Отвечают — ну вот он, рядом сидит. А он с явной бандитской внешностью. Спрашиваем у руководителя миссии не кажется ли вам, что это полевой командир? Отвечает: это и есть полевой командир, то есть, он эти мины там ставил.

В Гааге идёт трибунал, мы сюда приезжаем разбираться с последствиями военного конфликта, а нас встречает полевой командир. Нам говорят он один знает, где эти мины лежат. То есть мы можем его отдать под суд, и тогда вы все взорвётесь, либо он получит амнистию, но зато никто из вас не погибнет. Он — эксперт.

Экспертиза — это очень хорошее знание объекта, когда никто кроме него не знает, где это лежит, а с другой стороны, он имеет особые отношения с ли-

цами, принимающими решение.

Но в какой-то момент экспертность дополняется третьим измерением, то есть отношением со СМИ. И тогда эксперт это уже не тот, кто имеет доступ к должностному лицу, и не тот, кто знает объект, а тот, кого чаще упоминают и чаще зовут. И тогда это уже получается рынок легитимной экспертности: этого человека можно, а этого уже нельзя, не дай бог что-нибудь ляпнет. А этого, наоборот, можно, потому что, если он ляпнет, его всё равно все считают сумасшедшим, пусть продолжает в том же духе, для этого и зовём. Пусть дискредитирует точку зрения, которую он будет выражать тем, как умеет. А создать вокруг него ореол безумия несложно.

То есть деградация экспертности — да. Но это неизбежно, когда речь идёт об экспертности и публичности. Это не связанные меж собой вещи изначально. Сегодня экспертность куда больше инфигирована проблемой публичности, чем наоборот. То есть, экспертизы гораздо меньше в публичных обсуждениях, чем публичности в экспертизе.

При этом никакой идеализации Фэйсбука лично у меня нет. Наоборот, мне кажется, что это — кошмар и ужас — не из-за размывания экспертности, потому что все равны и каждый может нести, что он хочет, а эксперта не слышно на этом фоне. Это, конечно, плохо. Но публичность она не про экспертность на самом деле. Она как раз про возможность быть услышанным. Там происходят другие вещи. Там происходит такое же выхолащивание языка, как и в средствах массовой информации. То есть невозможность никакого содержательного высказывания. Публичность становится инструментом моральной травли. Вдруг становится понятным, почему самые древние архаичные дюркгеймовские аборигенские практики сегодня вдруг снова возникают, но уже в Фэйсбуке.

Телевидение и Фэйсбук ненавидят прямо противоположные вещи и чаще всего друг друга. Но при этом очень сходны по тому, как там производятся коллективные эмоции.

✂